



А. Н. ПЫПИН

Проявления скептицизма. — Чаадаев

Исследуя в данном периоде элементы, приготовлявшие к последующей преобразовательной эпохе и потому предполагавшие отрицание системы, построенной на официальной народности, мы должны остановиться прежде всего на Чаадаеве. Личность Чаадаева долго оставалась не вполне ясною и до сих пор стоит довольно одиноко в истории нашего умственного развития, хотя уже немало было писано о нем в пользу его и против него. В самом деле, откуда выросло то содержание, каким удивлено было русское общество в его «Философическом письме»? Откуда развился тот крайний скептицизм относительно русской жизни, который нежданно высказался среди самодовольного общества и повлек за собой такие суровые репрессалии? Как явились несомненные католические вкусы Чаадаева? Какое влияние оставил он, и оставил ли, в нашей литературе и общественных понятиях? Не решая сполна этих вопросов, еще не вполне доступных истории, остановимся на общей характеристике мнений Чаадаева и сочинений его, которые, за исключением «Письма», до сих пор еще не были известны на русском языке.

Прежде всего характер умственного движения в описываемые годы может указать, что скептицизм Чаадаева относительно русской жизни и истории вовсе не был вещью случайной; он стоит в тесной связи с так называемым «западным» направлением тридцатых и сороковых годов (хотя и не сливается с ним) и должен был иметь исторические antecedенты. Такие явления в умственной жизни не бывают вообще явлениями единичными, анекдотическими. Если Чаадаев произвел впечатление, имел своих защитников и врагов в кругу лучших умов того времени — о чем мы имеем немало свидетельств, — это значи-

ло, что в его идеях, как ни были они своеобразны, был общий исторический элемент.

В чем же состояла эта историческая связь и как шло развитие самого Чаадаева? Биография Чаадаева, как мы сказали, еще имеет много пробелов, и к таким принадлежит именно та пора его жизни, когда его взгляды сложились в религиозную философию, на которой он основывал и свою философию истории. Поэтому и теперь остаются не вполне ясны влияния, которые действовали на него в эту пору и, наконец, определили его умственную физиономию.

Историческая роль Чаадаева определяется, вообще, тем, что он был одним из тех немногих уцелевших в обществе деятелей, развитие которых принадлежало десятым и двадцатым годам, — времени наполеоновских войн и либерального движения. Он был одним из тех звеньев, которые связали ту оживленную эпоху с эпохой тридцатых годов и связали два характера мысли, в сущности мало похожих. Первое образование Чаадаева шло тем путем и в тех размерах, как оно шло тогда, да и позднее, у аристократической молодежи. Это было образование легкое, светское; довершение этого образования было уже его собственным делом. Одаренный задатками сильного ума и пытливости, он очень рано вступил в жизнь; рано началась для него и та пора, когда складывается впервые образ мыслей, и естественно, что, при живости ума, он должен был в особенности поддаваться впечатлениям времени и общества. Это время и общество были оригинальные и исключительные: Чаадаев юношей вступил в армию в тревожные и богатые возбуждениями годы отечественной войны и походов в Европу, и это время положило, вероятно, основы его дальнейшего развития. Здесь впервые должна была произвести на него могущественное действие европейская умственная и политическая жизнь, которая дала ему оставшийся навсегда идеал; здесь, вероятно, имела свой корень и его религиозная философия.

В понятиях людей александровского времени по предметам нравственной и общественной философии было вообще много идеалистического, но неопределенного. Мысль не укладывалась в положительную форму, напротив, всего чаще оставалась на степени теоретического афоризма, идеального стремления, потому, конечно, что самые идеалы были слишком новы, что действительность слишком мало на них походила и, не давая им необходимой практической опоры, поневоле заставляла этих людей витать в теориях, отвечавших их чувству; наконец, не были сильны и научные средства. Так было не с одним либе-

ральным молодым поколением двадцатых годов. То же было и в планах самой правительственной сферы. Начиная с первых замыслов императора Александра до тайных обществ конца царствования все идеалы общественной реформы отличаются и слишком книжным и сентиментальным построением: таковы «Лагарпов план»¹, проект Сперанского в сфере официальной² и таковы же конституционные и преобразовательные планы тайных обществ; таковы стремления библейские, масонские. При всем различии этих планов, в них проходит одна общая черта — их несколько странное, далекое отношение к русской жизни; при всем отличающем их желании служить благу народа, при несомненно благородных намерениях многих личностей — во всем этом было что-то произвольное, неприлаженное. Люди, задававшиеся преобразовательными идеалами, слишком легко удовлетворялись общими положениями и готовыми решениями и, не отдавая себе отчета в русской действительности, довольствовались одним общим представлением о неудовлетворительности существующего положения вещей. В ходу были, в особенности, теории политические, навеянные европейскими влияниями, а также возбуждаемые первыми инстинктивными стремлениями русской жизни: эти теории, чрезвычайно сложные в сущности, казались, однако, общедоступными.

Реформаторы из сферы правительства и из тайных обществ одинаково легко брались за предмет: под их руками быстро создавались конституционные планы, подкладка которых заимствовалась готовая — из европейских политических идей; в то время не сомневались обращаться в подобных случаях прямо к иностранцам, которые сами не находили в этом ничего странного. Так, в начале царствования обращаются к Бенхаму с вопросами о законодательстве³; так, Лагарп пишет свой план и император Александр негодует даже, что Сперанский его «обрусил»⁴; так, составляется тайное общество по программе Тугендбунда⁵ и пишутся конституции по английским и американским образцам. Большая часть людей, возымевших тогда политические интересы, получили их под впечатлением европейской жизни и сличения русской действительности с цивилизацией и свободой западных народов. Таким образом, большинство приходило отсюда не к изучению, а к нравственному возбуждению, к негодованию на существующее зло, и экзальтированное чувство тем легче верило в те политические средства, которые могли будто бы привести к желанной цели. Люди,

* Русский архив. 1871 (статья Погодина о Сперанском).

как Н. И. Тургенев, который уже тогда ясно видел, что все эти конституционные построения не имеют никакого значения перед крестьянским вопросом, требующим разрешения прежде всего, — такие люди бывали исключением...⁶

Мы говорили в другом месте, что не следует, однако, пренебрежительно относиться к этому явлению. Основная идея и мотивы всех этих планов имеют несомненную цену в истории общественных понятий; их прием и отношение к предмету — одинаковые, как мы видели, и в правительстве, и в среде общества — были делом времени. Их неполнота, их произвольность совершенно понятны как первый шаг политического сознания. Этим опытам трудно было быть лучше. Историческая потребность понята была высшими слоями образованного общества, и это стремление к общественной свободе по необходимости оставалось отвлеченным, потому что практических указаний не давала народная жизнь, давно потерявшая все признаки этой свободы, не было и указаний научных, потому что не было еще своей политической науки и наука историческая только что начиналась. Наконец, и прежняя жизнь вовсе не научала особенно к народной жизни, к истинному характеру действительности: девятнадцатый век, конечно, гораздо меньше можно обвинить за эти эксперименты *in anima vili**, чем восемнадцатое столетие. Нужен был целый процесс развития, чтобы общественная мысль научилась правильному и разумному отношению к народу, и либерализм александровского времени именно представлял начало этого процесса.

Эта отвлеченность нравственных и общественных понятий того времени, объясняемая самими условиями русской жизни, вместе с тем была и отражением европейских космополитических идей. Наследие революции, этот космополитизм в нашем либеральном кругу был в особенности развит сближением народов в продолжение наполеоновских войн; потом реакция Священного Союза, поставив себе задачей всеобщее преследование либерализма, опять его усиливала и, предполагая тесную связь либеральных волнений в разных краях Европы, сама внушала либеральным партиям, что их дело есть общее дело свободы. Действительно, влияние этих космополитических идей составляет характеристическую черту того времени, ярко обнаруживаясь и тогдашним политическим положением России, и внутренней жизнью, в которую с особенной силой стали проникать разнообразные отголоски европейского брожения, от крайнего

* на живом существе (*лат.*). — *Примеч. сост.*

пиетизма до политического свободомыслия. Наши либералы интересовались европейскими событиями, сочувствовали революционным вспышкам двадцатых годов, искали своих авторитетов между корифеями европейского либерализма и т. п. В их образе мыслей составлялся известный кодекс либеральных принципов, который они принимали, несмотря на все его разногласие с нравами и обычаями русской жизни, принимали как дело образованности и дело чести. Любопытно встретить, что в этом кодексе либералов не последнюю роль играли и классические воспоминания: они читали Цицерона, Ливия, Тацита и классическая цитата нередко приводилась в подкрепление мнений*.

Чаадаев имел тесные связи с либеральным кружком двадцатых годов. По обычаю времени, мы встречаем его в масонской ложе; его коснулось и тайное общество**⁷, хотя не видно, чтобы он в нем играл какую-нибудь роль: судя по его позднейшим отзывам об этом обществе, он, вероятно, признавал его только в смысле дружеского кружка и мирной пропаганды и не сочувствовал никаким практическим предприятиям, о которых могла идти речь. Во всяком случае, его сношения с обществом прервались его отъездом за границу, где он прожил несколько лет***. Но как бы то ни было, Чаадаев переживал этот период идеального и космополитического либерализма, в котором и должны заключаться зародыши его позднейших воззрений. Послания Пушкина рисуют эту пору их дружбы, когда Чаадаев являлся перед ним то «мудрецом», то «мечтателем»; впоследствии (в 1830 г.) Пушкин читал в рукописи ряд тех писем, из которых одно появилось потом в «Телескопе», и из его отзывов об этом чтении не видно, чтобы идеи Чаадаева поразили его как что-нибудь совсем новое; вероятно, по крайней мере, не было ново их скептическое направление.

Биография Чаадаева до сих пор мало объясняет, откуда взялась та особенность его мнений, которая явным образом выразилась в «Философических письмах» и которая должна была особенно увеличить раздражение, ими вызванное. Мы говорим о его католических наклонностях. Мы имеем мало сведений о

* См., напр<имер>, в записках Якушкина.

** В тех же записках рассказывается, что Чаадаев согласился на сделанное ему Якушкиным предложение вступить в тайное общество.

*** В одном из писем, писанных к нему за границу (в начале 1825 г.), упоминается интересный ряд его друзей и знакомых, о которых он желал иметь новости. В этом ряду упомянуты имена: Граббе, Алекс<андр> Пушкин, кн. Вяземский, Тургеневы, Никита Муравьев, кн. С. Трубецкой, Матвей Муравьев, кажется, фон-Визины.

том, как обнаруживались у него эти понятия в жизни; на деле он не был, говорят, католиком, он умер православным, — но иезуит Гагарин говорит о том, как много ему «обязан» и как отношения с Чаадаевым в тридцатых годах «оказали могущественное влияние» на его будущее. Где же искать источника этих католических наклонностей?

Известно, что католицизм нашел много последователей в нашем высшем обществе во времена императора Александра. Историк иезуитов в России рассказывает, с каким успехом они вели свою пропаганду, как толпами обращались в католичество великосветские дамы, как иезуитские пансионы начали действовать на самые юные поколения. В иезуитском пансионе на три четверти было воспитанников из семейств высшей аристократии. Здесь воспитывались люди, игравшие впоследствии значительную роль в нашей общественной и государственной жизни, напр<имер> Алексей и Михаил Орловы, Бенкендорф; здесь учились Голицыны, Нарышкины, Гагарины, Меншиковы, Волконские, Шуваловы, Ростовчины, Строгановы, Полторацкие, Толстые, Вяземские и т. д. *. Рядом шли многочисленные тайные обращения в католицизм. Католическая пропаганда еще с конца прошедшего столетия свила себе прочное гнездо в русском высшем обществе, и русские аристократические имена доставили в новейшее время католицизму значительный контингент, в котором были деятельные пропагандисты и даже свои знаменитости: таковы имена г-жи Свечиной, кн. Зинаиды Волконской, Гагарина, Шувалова, Августина Голицына и т. д. Любопытный читатель найдет характеристические подробности в книге о. Морошкина, в биографии Свечиной, в сочинениях самих обращенных.

Чем объяснилось это явление — отчего «рвалось из всех сил в объятия латинства русское родовитое барство»? Нет сомнения, что важную роль играли здесь тот недостаток порядочного воспитания в православном духе, то отдаление высшего круга от русской жизни и от русского духовенства, не представлявшегося достаточно полированным и светским, то «невежество» и «легкомыслие, свойственные женщинам нашего высшего общества в вещах самых серьезных», та вкрадчивость и легкость католических аббатов, «имеющих такие мягкие манеры, говорящих так вкрадчиво, так нежно и на таком прекрасном языке, как игривый французский», и т. д. — все те причины, которые приводятся о. Морошкиным. Но это были не единственные

* *Морошкин М.* Иезуиты в России. Т. II. С. 111, 114, 115, 127.

причины, и выставленные недостатки русского барства были не единственные вещи, делавшие его доступным пропаганде. Если говорить о ближайших явлениях, то сам о. Морошкин приводит факты, представляющие в очень печальном виде русское духовенство конца XVIII и начала XIX столетия*: недостаток образования был таков, что религиозное обучение и не могло быть удовлетворительно и даже без чужой пропаганды могло являться у людей, в других отношениях довольно образованных, и это незнание своей веры и это отдаление от своего духовенства. Образованнейшие люди из духовенства, как напр<имер>, Самборский, поощряемый и уважаемый самой властью, были очень непохожи на своих сотоварищей и были в то же время очень редки. Следовательно, вина упомянутого отдаления должна лежать не на одном исключительно «барстве». С другой стороны, удаление от народной веры было не единственным примером удаления от народной жизни. Точно так же удаление это простиралось на множество других отношений, где таким же образом порывалась связь между одним классом — сильным, богатым, привилегированным, и другим — слабым, бедным и незащищенным. Но если во всех других отношениях отдаление от народа поощрялось всеми господствующими учреждениями и нравами, было ли удивительно, что совершалось наконец и удаление религиозное? Словом, причина явления заключалась не в одних личных недостатках многих людей высшего сословия, но главным образом в общих условиях, напр<имер>, в недостатках самой церковности в учреждениях, совершенно выделявших высшее сословие в особую, ничем не связанную с народом, привилегированную касту. <...>

Чтобы объяснить себе успех католических идей, не надо забывать общего характера времени, когда в Европе все сильнее распространялись стремления ко всякой реставрации, когда религиозный вопрос выступил с особенной силой и когда в нашем собственном обществе началось какое-то религиозное брожение. В этом брожении католические тенденции не были единственными; они сталкивались с тенденциями протестантскими, с методизмом и всех родов мистикой. В то время, когда одни слушали де Местра, другие увлекались Библейским обществом, квакерами, г-жей Крюднер, Госнером и т. д.; находила своих последователей даже Татаринова. Вопрос оставался одно время как бы открытым и был серьезен по степени серьезности тех, кто им интересовался. Библейское общество, мистицизм, раци-

* Там же. Т. I. С. 258–259.

онализм увлекали и образованнейших людей в новом поколении духовенства (библейским мистиком был и Филарет, впоследствии митрополит Московский и Коломенский), даровитейших государственных людей, как Сперанский, и людей либерально-го поколения, уже составлявших свое тайное общество.

Рядом с этим неудивителен и успех католических идей. То и другое были явлениями одного порядка, и хотя в обоих случаях были наивные или нелепые крайности, но, с другой стороны, было здесь и «обаяние цивилизации». В одном случае действовал на людей нашего общества пример Лондонского библейского общества⁸, личности его деятелей, энергические характеры квакеров⁹, примеры знаменитых людей Европы, мистическая литература; в другом случае действовали такие же примеры и знаменитости католицизма. Так, граф де Местр, друг иезуитов и сотрудник католической пропаганды, был вместе писатель европейской известности, с великим авторитетом в католических кругах Европы, с которыми наша аристократия была в давних и близких сношениях. И хотя де Местр, собственно говоря, плохо представлял европейскую образованность, потому что был реакционер и обскурант, — но это другой вопрос: люди религиозные в то время не замечали и не понимали этого обскурантизма.

Кроме того, католическая пропаганда была по преимуществу, даже исключительно, французская, и в этом смысле она особенно имела упомянутое «обаяние». Она могла находить себе сильную опору во французском влиянии, вообще отличавшем тогдашнюю нашу образованность. Французские религиозные (т. е. католические) идеи могли быть весьма естественным дополнением к господству французского образования вообще: по крайней мере, для этого открывалась уже дорога господством французского языка* и французской литературы.

Неудивительно поэтому, что католические идеи находили путь в умы не одних легкомысленных графинь или княгинь; их принимали люди более серьезные, различной степени дарований, конечно, увлекавшиеся не одной ловкостью и галантерейностью аббатов. Разумовский мог быть, вероятно, причис-

* Как велико было его господство, это известно. Планы преобразования России обсуждались по-французски, герои 1812 года щеголяли французским языком. Уже в 1830 году Пушкин, первый русский писатель того времени, пишет к Чаадаеву на французском языке: «Je vous parlerai la langue de l'Europe; *elle m'est plus familière que la nôtre*»!! (Я буду говорить с вами на языке Европы, он мне привычнее нашего. — *Примеч. сост.*).

лен к несколько серьезным людям; назовем еще кн. Козловского, знаменитого в свое время своим умом и блестящим остроумием; одного из декабристов, Лунина; в более позднее время, В. Печерина и проч. Между дамами несимпатична Свечина, но за ней нельзя не признать ни ума, ни дарования.

Кроме отрицательных оснований, о которых мы выше упоминали, на этих людей должна была действовать историческая сторона католицизма, его роль цивилизующая, которая была несомненна в прошедшем Европы и от которой многие тогда ждали всего и в настоящем; его удивительная церковная организация, его могущество, которое, как ожидали, должно было возродиться вновь, замечательные личности его представителей и т. д. Восстановление религии после революционного погрома и потом Реставрация повели к замечательному распространению католических идей, которые снова получили роль в политике и в общественной жизни, в литературе и в науке. Литература времен Реставрации в особенности окрашена была этим католическим колоритом: де Местр, Бональд, Ламеннэ, Шатобриан, Мишо, писатели европейской славы, возвеличивали католические принципы в общественной философии, в истории, с оттенками, которые могли удовлетворять различным вкусам и требованиям. Поэтизирование средних веков, составлявшее одну из главных особенностей романтизма и немецкого, и французского, было особенно на руку католицизму, и известно, что это направление производило множество обращений в католицизм даже в протестантской Германии, и именно в том образованном кругу, где могли сильнее действовать теоретические соображения. Несколько похожее действие эта атмосфера оказывала и у нас на тех людей, которые сближались с тогдашними умственными интересами европейского общества.

В числе этих людей был и Чаадаев.

После первых впечатлений европейской жизни, испытанных в течение наполеоновских войн, в Петербурге Чаадаев, по-видимому вместе с либеральным кружком своих друзей, отдавался тем великодушным мечтам, которые наполняли их нравственное существование и вознаграждали их за тяжелые и неприятные испытания действительности. Дальнейшие пути этих друзей разошлись: одни искали удовлетворения в политической агитации и погибли, как декабристы; другие испугались опасности и уцелели, но, не покинув любимых некогда мечтаний, вели в обществе половинчатую жизнь, как М. Орлов; иные хотели примириться с жизнью, как Пушкин; не говорим о тех, которые, недолго задумываясь, продали идеалы за наличные

выгоды. Чаадаев был из тех, которые никогда, кажется, не были склонны к политической агитации, но в нем осталась склонность к размышлению, искание ответов на мудреные вопросы жизни, к которым он считал возможным и необходимым прилагать точку зрения европейского идеала. В позднейшей переписке Чаадаева с прежними друзьями, напр<имер> с Пушкиным, М. Орловым, И. Д. Якушкиным, очевидно продолжение давно начатых бесед о религии, морали, об отношении науки к откровению, об исторической судьбе наций и т. д. По всей вероятности, эти вопросы занимали его и в течение нескольких лет, проведенных им за границей, после 1821 до 1826-го, и в то время окончательно для него определились под новым усиленным влиянием европейской жизни, ее исторических памятников, представителей ее тогдашнего брожения, с которыми он между прочим встречался. Это был разгар Реставрации, обновленных католических идей, эпоха романтизма, философской истории и т. п. Биограф упоминает только об отрывочных знакомствах Чаадаева в европейском научном и литературном мире; но его знакомство с Шеллингом, с мистическим ученым Экштейном, впоследствии дружеские связи с французским графом Сиркуром и т. п. *, были, конечно, не случайным его интересом. Этому времени надо приписать образование его мнений в том виде, как они выразились в «Философических письмах». Развившееся в то время стремление к философскому изучению истории, к объяснению жизни народов основными принципами, определявшими их историческую деятельность, и в частности стремление к объяснению европейской цивилизации, созданной христианством, развившейся на Западе под влиянием католического единства Западной Европы, определяли и взгляды Чаадаева в этом отношении.

В применении к русской жизни эти идеи довольно естественно могли вести к тому результату, к какому пришел Чаадаев. Кружок двадцатых годов вообще страдал чувством неудовлетворенности. Возникшие вопросы не находили себе ответа и, как обыкновенно бывает, возбуждали тревожное искание выхода и раздражительное отношение к настоящему, тем более сильное, чем меньше действительность давала надежды на улучшение. В либеральном кружке двадцатых годов это раздражение повело к политической экзальтации, у Чаадаева перешло в его религиозно-философские взгляды.

* Есть намеки на его другие знакомства, напр<имер> с Балланшем, Ламеннэ и пр. Заметим, что, между прочим, Экштейн и первое время Ламеннэ были в числе друзей г-жи Свечиной.

Скептическое отношение Чаадаева к русской жизни связано, во-первых, с высоким понятием времен Реставрации об историческом значении католицизма и, во-вторых, с прошедшей историей нашего общества. Этот скептицизм кажется в Чаадаеве неожиданным на первый взгляд; мы с удивлением встречаем его среди литературной рутины; но он становится понятен, если сопоставить его с теми критическими запросами и сомнениями, которые давно высказывались в литературе и в жизни, с первой русской сатиры до Новикова, Радищева, до либерализма двадцатых годов, до Пушкина и Грибоедова. В этом ряду различных ступеней общественной мысли можно проследить постоянно возрастающий уровень идеальных требований, и если вспомнить при этом, что литература всегда далеко не вполне высказывала накопившееся недовольство, и принять в соображение эту скрытую, но тем не менее действительную работу мысли, мы найдем объяснение для этой неожиданной степени скептицизма. Притом Чаадаев, предполагая писать только для ближайших друзей, мог обойтись без умолчаний и без лицемерия¹⁰. <...>

Скептицизм Чаадаева завершает то, что высказывалось отрицательно в русском обществе и литературе. Люди тайного общества были вооружены против положения вещей: Пушкин в молодости стал как будто сатирическим органом тогдашних либералов и изображал разочарование Онегина; Грибоедов писал филиппики своего Чацкого; неизвестный автор письма 1824 г. высказывал об умственном состоянии русского общества мысли, которые иногда очень родственны с мыслями чаадаевского «Письма». Если собрать все эти симптомы сомнения, которые высказывались у наиболее мыслящих людей того времени, — мы найдем, что скептицизм Чаадаева имеет свою родословную. Чаадаев только возвел эти сомнения в систему, распространил их на прошедшее (либералы уже не верили в исторические картины Карамзина) и, наконец, дал своей системе доктринерское основание...

Историки нашей литературы любят указывать в нашем национальном характере ту готовность к самообличению, яркие доказательства которой они видели в непрерывающемся ряду сатиры со времен Кантемира... Надобно сказать, однако, что, когда Чаадаев поставил эту готовность в серьезное испытание, она оказалась не так велика* или что она есть только в извест-

* Перед тем «Горе от ума» долго казалось невозможным в нашей печати. Много других цензурных вопросов того времени таким же образом возводилось на степень вопросов государственной важности.

ном избранном круге. Общество, которое делало уже имена Кантемира, фон-Визина, Державина, Крылова, наконец, Грибоедова, Пушкина и пр. предметами своей гордости, не могло вынести *этого* обличения. Чаадаев в «Апологии» указывает странное явление, что вслед за проклятиями его «Письму» эта самая публика выслушивала и превозносила «Ревизора», где русская жизнь вовсе не была польщена. Но искусство имеет свои привилегии — и вместе с тем художественная литература, даже у самого Гоголя, никогда не открывала отрицательной стороны жизни в такой наготе, в такой безусловной ясности. В самом Гоголе масса слишком легко теряла общий смысл за шуткой, которая напоминала ей смешные водевили. Гоголь в «Разъезде» превосходно изобразил впечатления комедии в большинстве публики, и в конце концов истинный смысл произведения пришлось объяснять самому автору. Наконец, и Гоголь также имел ожесточенных врагов. «Письмо» Чаадаева не представляло никакого смягчающего элемента: несообразности и бедность русской жизни, какие отдельными чертами уже давно бросались в глаза образованнейшим людям, — все эти тяжелые мысли, накопившиеся многими рядами разочарований, были собраны здесь в одном фокусе. <...>

Свобода критики, без сомнения, вскоре открыла бы слабые стороны Чаадаева, как бы ни взглянула критика на его изображения настоящего; она, конечно, *и тогда* увидела бы капитальные ошибки в построении его системы, в основном представлении Чаадаева о европейском прогрессе. В самом деле, даже с точки зрения безусловного признания европейского прогресса, какой держится Чаадаев, его положения далеко не выдерживали критики. Его историческая теория могла быть верна разве только до XV столетия, когда еще господствовало превозносимое им церковное единство Западной Европы: протестантизм, с XVI столетия разорвавший это единство, был результатом того же развития и не только не был упадком европейской умственной жизни, а был, напротив, новым ее возбуждением. Папское единство в прежнем смысле было не только поколеблено, но разрушено безвозвратно: новое религиозное движение было не отдельной сектой, а, напротив, обширным движением, которое увлекло не отдельные части общества, а целые нации. Протестантизм вводил новый умственный принцип, от которого уже не может отказаться история религиозного развития, — свободу критики, освобождение мысли, — и этот принцип составлял с тех пор столь необходимую черту европейского прогресса, что он проникает все направления жизни

и науки, все равно, католической или протестантской. Католической церкви уже скоро пришлось бороться с научной мыслью, осуждать Коперника, Галилея, наполнять бесконечный каталог Индекса и, однако, в конце концов покоряться проклинаемой ею науке. Открытия XV—XVI веков, вместе с Возрождением и Реформацией начинающие новую историю умственной жизни Европы, потом рационализм и скептицизм XVII и XVIII столетий совершались вовсе не в духе католицизма, — но тем не менее они были господствующими явлениями европейского прогресса, которыми и определяется его современный характер, не только не поддерживающий католическо-папского единства, но положительно его отвергающий.

Чаадаев чувствовал несовместимость подобных явлений с его теорией, и мы видели, как строго он с своей точки зрения осуждает и Возрождение, и протестантизм. Таким образом, в ряду тогдашних направлений европейского мышления теория Чаадаева являлась тесной католической доктриной, которая была скорее теорией реакционной, чем теорией прогресса. В нашей литературе история была, однако, настолько знакома, что уже в то время против Чаадаева могли быть приведены достаточно сильные исторические аргументы.

Подобным образом против него и тогда могли быть приведены достаточно сильные возражения по русской истории: ему могли, между прочим, отвечать то самое, что сам он высказал потом в «Апологии». А главное, в том, не прямо высказанном, но предполагаемом пункте, будто для России был необходим именно тот путь цивилизации, какой выражался католическим единством, ему и тогда могли бы сказать, что если самое это единство оказалось исторически несостоятельным, то естественно следовало, что русскому народу для его европейского воспитания не было необходимости обращаться к принципу, пережитому и покидаемому самой Европой, а, напротив, надо было остерегаться его.

Нет сомнения, что подобные и еще более энергические возражения были бы выставлены против Чаадаева в литературе, если бы он не подвергся иному обличению*: не будь этого, статья Чаадаева вызвала бы, конечно, самую оживленную полемику, — разумея не ругательства квасных патриотов и прислужников, что явилось бы, конечно, прежде всего и в наибольшем количе-

* Биограф Чаадаева видит особенное великодушие в том, что Хомяков отказался от подобного спора; но Хомяков только исполнил литературное приличие¹¹.

стве, но полемику со стороны лучших деятелей литературы. Публика могла бы убедиться, что существование России не подвергалось от статьи Чаадаева опасности, а для людей серьезных открылась бы борьба мнений, которая могла быть не лишена самых оживляющих интересов, потому что статья Чаадаева дала для этого богатый материал. Но полемика не состоялась...

По словам биографа, «безусловно сочувствующих и совершенно согласных (с Чаадаевым) не было ни одного человека»¹², и этому легко поверить: не говоря о большинстве, которое просто не понимало возможности подобных вопросов, и люди образованные не могли бы войти во все его аргументы и выводы. Нечего говорить, что начинавшаяся славянофильская школа самым решительным образом протестовала бы против подобного нарушения ее идеальных святынь. Люди другого лагеря точно так же не приняли бы исторических выводов Чаадаева. Герцен, чрезвычайно высоко ставивший Чаадаева по его умственно-возбуждающему значению, вероятно, отвергал его выводы в то время так же решительно, как впоследствии. <...>

Любопытно, что Пушкин видел в письмах не только теоретическое содержание, но и художественное произведение, — извиняет недостаток метода формой письма, восхищается картинами. Исторический взгляд Чаадаева для него нов, хотя прием этот был знаком и тогда людям, изучавшим немецкую философию; католической точки зрения Пушкин также не заметил. При всем том Пушкин верно оценил понятие о христианском единстве, составляющее основу мнений Чаадаева, — и хотя, по видимому, не чувствовал связи между идеализмом Чаадаева, явно католическим, и его мнениями о Гомере или Марке Аврелии, но не соглашался с этими приговорами.

Если Пушкин, не занимавшийся философско-историческими вопросами, тем не менее угадывал основную ошибку Чаадаева, без сомнения, ее совсем ясно поняли бы деятели нового поколения, более изучавшие эти вопросы.

Тем не менее статья Чаадаева была событием. Мы не будем говорить об ее значении теми гиперболическими выражениями, какие употребляет его биограф, но влияние Чаадаева, во всяком случае, несомненно. Статья, прочитанная всеми, кого интересовал предмет, должна была произвести на людей размышляющих сильное впечатление. Это была одна из тех немногих вещей нашей литературы, в которых говорила не литературная рутинная ставилась вопрос исторического национального существования. Чаадаев ошибался в своей теории, — но в его статье было несколько поразительных страниц, которые посвя-

цены русской действительности и шли наперекор всем принятым мнениям, и особенно самообольщениям. Можно сказать, что ее отрицание шло даже дальше всего того, что могло быть в мнениях самых передовых людей того времени: никто не указывал с такой уничтожающей резкостью на младенчество нашей цивилизации, на младенчество нашего сознания. Нечего говорить о том, насколько Чаадаев непримиримо расходился с начинавшейся тогда славянофильской школой. Но главным образом точка зрения Чаадаева была полной противоположностью тем взглядам, какие принадлежали системе официальной народности: здесь статья Чаадаева была сочтена оскорбительным для чести России пасквилем, преступлением, святотатством. И не могли иначе судить о ней люди, для которых все вопросы были уже решены, которые утверждали по-французски: «La passé de la Russie a été admirable; son présent est plus que magnifique; quant à son avenir il est au delà de tout ce que l'imagination la plus hardie se peut figurer»... *¹³ Чаадаев в «Апологии» не совсем ошибался в предположениях о том, из каких слоев общества направилось сильнейшее озлобление против него... Теперь известно, что первое обвинение поднял против него известный Вигель¹⁴.

Противоречие заявлено было открыто, и отсюда такой взрыв в массе общества, который не имеет другого подобного в истории нашей литературы. И здесь историческое значение произведения Чаадаева: заявлением своих идей он открывал путь для критического сознания.

Своим суровым обличением недостатков русской жизни, высотой указанных им требований европейской цивилизации Чаадаев, как немногие другие, способствовал уничтожению того национального самообольщения, которое издавна было одной из главнейших помех нашему образованию. Выставляя высокий идеал общечеловеческой цивилизации, Чаадаев побуждал общество возвыситься и свои стремления; почти отчаиваясь в русской жизни, Чаадаев тем самым должен был вызывать реакцию живых сил, к какому бы они лагерю ни принадлежали...

В наше время значение Чаадаева несколько забыто. Недавно было высказано мнение, что письмо Чаадаева не оказало особенно глубокого влияния в нашей литературе и осталось бесследно. Едва ли так. Прежде всего историческая роль Чаадаева

* Прошлое России было блестяще, ее настоящее более чем великолепно, а что касается ее будущего, оно превосходит все, что может представить себе самое смелое воображение. — *Примеч. сост.*

заключается не в одном этом «Письме», погибшем, едва увидевши печать, но также в личном влиянии, которое могло совершаться и вне литературы, и в этом смысле положение Чаадаева можно сравнить с положением Станкевича. Это влияние Чаадаева началось с Пушкина* и продолжалось в тридцатых и сороковых годах. Выражения, в которых говорит о нем Герцен, могут служить тому достаточным свидетельством. Герцен мог преувеличивать это значение, мог ошибаться в нравственном характере Чаадаева, но, во всяком случае, личность, которая своим умом и мнениями могла оказывать впечатление на такого требовательного судью, не могла быть незначительной. Мы приведем дальше слова другого замечательного человека того времени, из которых видно, что такое же значение придавали Чаадаеву и в совершенно противоположном лагере. За Чаадаевым оставалась память его статьи, и он деятельно участвовал своими мнениями в тех беседах и спорах, которые в то время приобрели важное образовательное значение и в которых, за отсутствием свободной литературы, велось развитие идей и определялись мнения.

Поставленный между двумя партиями, существенно идеалистическими, скептицизм Чаадаева относительно русской жизни был, конечно, ближе к той, которая настаивала на принципах европейской цивилизации, но он служил для обеих сильным возбуждением к проверке понятий. Он подавал пример независимости мысли, потому что, несмотря на малодушные уступки в минуту страха, он сохранял сущность своих мнений, и, как известно из рассказов, в сороковых годах общий тон его был таков же, каков он был в тридцатых годах. У него была готова остроумная насмешка, когда национальное самомнение впадало в крайности, он оживлял спор и освещал предмет с новой, неожиданной стороны. То время особенно занято было стремлением определить философски начала национальной жизни и доказать их исторически, и еще в письмах 1829 г. Чаадаев настаивает на необходимости исторического изучения. Историческая критика, по его понятиям, должна была стать высокой умственной силой: она должна была «уничтожить все исторические фантомы, разрушить все ложные образы, для того чтобы, представив уму прошедшее в его истинном свете, она

* Об их отношениях достаточно было сказано биографом Чаадаева. Тон их отношений виден и в приведенном нами письме Пушкина; оно оканчивается так: «Пишите же мне, мой друг, если бы даже вам пришлось бранить меня. Лучше — говорит Экклезиаст — слушать наставления мудрого, нежели песни безумца».

могла вывести из него какие-нибудь несомненные заключения для настоящего и с уверенностью обратить взгляд на бесконечные пространства, которые разворачиваются перед нею». «Только возвращаясь (историческим изучением) к своим протекшим существованиям, — говорит он там же, — массы и отдельные лица научатся исполнять свои предназначения; только в ясном понимании прошедшего они найдут силу действовать на свое будущее». «Серьезная мысль нашего времени, — говорит он в «Апологии», — требует именно сурового размышления, искреннего анализа тех моментов, где жизнь обнаруживалась у народа с большей или меньшей глубиной, где его общественный принцип выказался во всей своей истине, — потому что здесь будущее, здесь элементы его возможного прогресса». Этого и доискивались в следующие десятилетия наши историки; за столкновением их теорий Чаадаев следил с особенным интересом. Слишком преувеличенно видеть в нем преобразователя исторического метода, как видит его биограф¹⁵; но косвенное и возбуждающее влияние его не подлежит сомнению.

Его крайнее сомнение относительно русской жизни было той точкой перелома, откуда начинался новый период в нашем умственном развитии, перелома, которому в литературе художественной соответствует появление сатиры Гоголя. В деятельности, как и в личном характере Чаадаева было много недостатков; в его понятиях было много ошибочного, но, чтобы судить подобного рода недостатки и ошибки мнений, необходимо брать их в связи с общими условиями. Чаадаев находил, что нашим умам вообще недостает основательности, логики, и он был прав, потому что действительно ни одна мысль, касавшаяся общественных отношений, не находила у нас правильного и полного развития. Многообразные стеснения, связывавшие нашу умственную жизнь и приводившие к этим последствиям, отразились и в самих построениях Чаадаева: предоставленный личным силам, без возможности открытого развития своих понятий, без проверки, Чаадаев рядом с высокими идеальными требованиями впадает в самые странные заблуждения, отзывавшиеся его личным мистицизмом и которым не могли нисколько сочувствовать самые горячие его поклонники.

Мы упоминали о том, как высоко ставил Чаадаева Герцен, писатель той школы, с которой Чаадаев соглашался в высоком представлении об европейской цивилизации и во враждебном отношении к исключительной национальности, этой «географической добродетели», отличавшей славянофилов и школу официальной народности. Но почти с не меньшей симпатией относились к Чаадаеву люди, которые по всему характеру сво-

их понятий должны были быть и были его заклетыми теоретическими противниками. «Почти все мы знали Чаадаева, — говорил Хомяков в заседании Московского общества любителей русской словесности 28 апреля 1860 года, — многие его любили, и, может быть, никому не был он так дорог, как тем, которые считались его противниками. Просвещенный ум, художественное чувство, благородное сердце — таковы те качества, которые всех к нему привлекали: но в такое время, когда, по видимому, мысль погружалась в тяжкий и невольный сон, он особенно был дорог тем, что он и сам бодрствовал, и других побуждал, — тем, что в сгущающемся сумраке того времени он не давал потухать лампаде и играл в ту игру, которая известна под именем: “Жив курилка”. Есть эпохи, в которые такая игра есть уже большая заслуга. Еще более дорог он был друзьям своим какою-то постоянною печалью, которою сопровождалась бодрость его живого ума... Чем же объяснить его известность? Он не был ни деятелем-литератором, ни двигателем политической жизни, ни финансовою силою, а между тем имя Чаадаева известно было и в Петербурге, и в большей части губерний русских почти всем образованным людям, не имевшим даже с ним никакого прямого столкновения»...¹⁶ Хомяков, с своей точки зрения, приписывает известность Чаадаева тому, что он жил и умственно действовал в Москве, — потому что, «где бы ни был центр государственный, Москва не перестала и никогда не перестанет быть общественною столицей русской земли». Москва, конечно, способствовала обширной известности Чаадаева тем свойством создавать себе авторитеты, о котором упоминает биограф Чаадаева: но лучший источник известности Чаадаева был, без сомнения, в том, что, когда прошел первый пыл негодования против него, общество снова обратило на него свою благосклонность по тому чувству, которое в «сгущающемся сумраке» того времени отдавало уважение проявлениям независимости мысли: эти проявления составляли большую редкость.

«Я не умею любить свое отечество с закрытыми глазами, с преклоненной головой, с запертыми устами, — говорит Чаадаев. — Я нахожу, что можно быть полезным отечеству только под условием ясно его видеть; я думаю, что прошло время слепых амуров, что теперь мы прежде всего обязаны своему отечеству истиной. Я люблю свое отечество так, как Петр Великий научил меня любить его». Мы не скажем, что Чаадаев не имел права на эти слова.

